
ПУШКИН И ПРОБЛЕМА НАРОДНОСТИ

А. Пушкин

I

В связи с исполнившимся недавно столетием „Философического письма“ П. Я. Чаадаева, наша печать уделила внимание взаимоотношениям Пушкина и замечательного мыслителя, которого правительство Николая I объявило сумасшедшим. Известно, какой огромный общественный резонанс имело мужественное выступление Чаадаева, который решился открыто бросить перчатку крепостнической реакции и выступить с пламенным обличением николаевского безвременья. Но нельзя не отметить, что все писавшие за последнее время о Пушкине и Чаадаеве впадают в одну и ту же ошибку. Они забывают о том, что великий поэт не только солидаризировался с Чаадаевым, но и чрезвычайно горячо полемизировал с ним. Сходясь с автором „Философического письма“ в оценке современной действительности, он от души приветствовал героическую и безнадежную борьбу своего старого друга за права человека и гражданина, попираемые пятой николаевских сатрапов, но вместе с тем глубоко расходился с Чаадаевым в *исторических* вопросах, в оценке русского прошлого. Чаадаев подвергал суровому осуждению не только николаевскую монархию, но и начисто зачеркивал всю русскую историю. Для Чаадаева периода „Философического письма“ вся история его родины — какое-то печальное недоразумение.

Сначала дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унижительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть... Эпоха нашей социальной жизни... была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии... Ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его предании. Окните взглядом все прожитые нами века... — вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошедшем...

Так писал Чаадаев, в таком траурном, кладбищенском свете рисовалось ему русское прошлое.

Пушкин же чувствовал себя сыном великого русского народа. Всегда, во все периоды сознательной жизни он гордился своей принадлежностью к „гордым внукам славян“. И антипатриотический пессимизм Чаадаева не мог не возмущать его глубочайшим образом. „Что касается нашего исторического ничтожества,—писал он автору „Фило-

софического письма“, —я, разумеется, не могу согласиться с вами“.¹ Пушкин, полемизируя с Чаадаевым, исходил совсем из других позиций, чем защитники „самодержавия, православия и народности“, которые смиренной рубашкой хотели заставить и заставили смелого публициста стать на колени перед николаевской монархией. Наоборот, как раз нападки Чаадаева на современную ему николаевскую Россию, убийственная характеристика полицейско-бюрократической действительности в „Философическом письме“ вызывает у Пушкина полнейшее сочувствие.

Надо признаться, — пишет он, — что наше общественное существование представляет собой грустное явление. Это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циническое презрение к мысли и достоинству человека — воистину приводят в отчаяние. Вы правы, что возвысили против всего этого голос...

Но, чувствуя со всей остротой тяжесть „цинического презрения к мысли и достоинству человека“, которую великий поэт достаточно испытал на собственном опыте, подчеркивая — „...я далек от того, чтоб любоваться всем тем, что меня окружает...“, он, однако, со всей категоричностью заявляет:

уверяю вас честью, что ни за что на свете я не хотел бы ни променять родину, ни иметь другую историю, чем история моих предков.

История родины была для Пушкина окутана героическим ореолом, несмотря на то, что окружающая его действительность не могла не приводить „в отчаяние“, не могла не вызвать известного восклицания (во время чтения Гоголем „Мертвых душ“): „Боже, как грустна наша Россия!“ Николаевской „грустной“ России Пушкин противопоставлял другую Россию, пронизанную мощной героикой.

Пробуждение Руси, укрепление ее единства, — говорит он в том же письме к Чаадаеву, — ...неужели все это не история, а бледный, полузабытый сон? А Петр Великий, который один олицетворяет Всемирную историю?

Особенно характерно здесь упоминание имени Петра. С точки зрения вульгарного социологизма пушкинский культ Петра означает не что иное, как лакейство и „сервилизм“ (проводилась же кощунственная аналогия между гениальными пушкинскими „Стансами“ и бездарными виршами пошлого рифмоплета кн. П. И. Шаликова). Между тем, если бы образ Петра не занимал у Пушкина *такое* место, какое поэт ему уделяет, если бы Пушкин не возвеличивал, а, предположим, развенчивал бы мощного „властелина судьбы“, как это делали позднейшие славянофилы, это не могло бы не привести его к совершенно убийственным выводам по отношению к родине.

„Грустна“ была николаевская Россия, и на ее безотрадном фоне отрадным для Пушкина воспоминанием

¹ Письмо к Чаадаеву от 19 октября 1836 г. В подлиннике по-французски. Цитируем везде по-русски. А. Г.

Была та смутная пора,
 Когда Россия молодая,
 В бореньях силы напрягая,
 Мужала с гением Петра.

Именно Россию *молодую*, полную сил и энергии, непохожую на то косное царство духовного застоя, на то „тусклое и мрачное существование“, которое по Чаадаеву характеризует всю русскую историю, видел Пушкин в петровской России. Он видел в ней прежде всего динамику, движение вперед русского национального государства, бодрое, творческое начало.

„Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, при стуке топора и при громе пушек!“¹ Сколько оптимизма в этих строках, какое огромное чувство социального восхода! *Трудовой творческий ритм* чувствовал Пушкин в петровской эпохе.

Перефразируя слова тургеневского Базарова, можно сказать, что для Пушкина петровская Россия была не „храмом“, а „мастерской“. Недаром, когда Ибрагим („Арап Петра Великого“) видел Петра не только „утверждающего морское величие России“ или „рассматривающего переводы иностранных публицистов“, но и „посещающего фабрику купца, рабочую ремесленника и кабинет ученого“, тогда „Россия представлялась ему огромной мастеровой, где движутся одни машины, где каждый работник... занят своим делом“.

Это умение Пушкина слышать поступь восходящей, прогрессивной эпохи, его тяга к России-мастерской лучше всего опровергает как реакционный бред мистика-Гершензона о вражде Пушкина к просвещению, так и утверждения некоторых наших литературоведов о наличии якобы мотивов декаданса в творчестве великого поэта. То обстоятельство, что Петр был официозным героем николаевской России и что подражание ему стало неписанным девизом Николая I, не должно смущать нас. В восприятии Пушкина Петр либо указывался Николаю как образец, либо прямо противопоставлялся ему, но никогда не отождествлялся с ним.

И был от буйного стрельца
 Пред ним отличен Долгорукий.

Прямодушный, резавший правду в глаза советник Петра Долгорукий олицетворял для Пушкина свободную мысль, враждебную всякому раболепию. Неслучайно „новым Долгоруким“ в условиях николаевского двора называл он оппозиционного сановника Н. С. Мордвинова, того самого, которого намечали в состав правительства декабристы, которому некогда посвятил свои „Думы“ Рылеев. Но уже в 1830 г. Пушкин имел достаточно данных, чтобы убедиться, что Николай I отнюдь не походил на нарисованный в „Стансах“ образ Петра и вовсе не склонен был выслушивать полемические замечания со стороны каких бы то ни было Долгоруких.

Не любит споров властелин,
 Не всяк князь Яков Долгорукий.
 Счастлив покорный мещанин.

Можно ли выразиться яснее?

¹ О русской литературе, с очерком французской. 1834 г. Сочинения Пушкина в 6-ти томах. 1933 г., т. 5-й.

Известно, что надежда на „милость“ Николая в отношении к узникам Сибири долго не покидала поэта. И, разумеется, неслучайно, рисуя героический образ Петра в „Полтаве“, Пушкин наделяет его не только чертами батальной героики, но и чертами милосердия.

С берегов пустынных Енисея
Семейства Искры, Кочубея
Обратно призваны Петром.

Смысл этих строк ясен, если учтем, что в числе участников Полтавской битвы Пушкин демонстративно называет Волконского (как правильно указывает Измайлов, с целью напомнить Николаю о печальной судьбе потомка этого самого Волконского, томящегося в Сибири). Если учтем также, что „Полтава“ посвящена той, кого окружает „Сибири хладная пустыня“, т. е. как раз жене декабриста Волконского, то станет ясным, что Петр, возвращающийся „с берегов пустынных Енисея“ семь изгнанников, — это новое напоминание Николаю —

Семейным сродством будь же горд,
Во всем будь пращурю подобен.

А когда выяснилось, что в отношении к декабристам Николай I меньше всего склонен был уподобляться созданному поэтом образу Петра, в 1836 году, за год до смерти, Пушкин открывает свой „Современник“ декларативным стихотворением „Пир Петра Первого“, где восхваляет Петра уже не за батальные подвиги и даже не за покровительство просвещению, а исключительно за то, что

... он с подданным мирится,
Вино атому вино
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну
И в чело его целует,
Светел духом и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом!

Это звучало демонстративным напоминанием Николаю, который отнюдь не собирался „мириться“ с декабристами. Демонстративность усугублялась тем, что именно этим стихотворением открывал свое существование первенец Пушкина — его „Современник“. Так именно и восприняли это стихотворение многие читатели 1836 года (например, Голенищев-Кутузов в своем неопубликованном до сих пор дневнике).

Ошибочно было бы думать, что Пушкин, идеализируя Петра, не замечал теневых сторон петровской реформы. Поэтизируя в образе „строителя чудотворного“ черты просветителя, реформатора, борца за прогресс, Пушкин в то же время ощущал петровский деспотизм как нечто ему глубоко чуждое. Еще в „Исторических замечаниях“ Пушкин писал, что Петр „презирал человечество более, чем Наполеон“. А исчерпывающая характеристика Петра, данная Пушкиным уже в 30 е годы, прямо поражает своей проницательностью. Если государственные учреждения Петра, по мнению Пушкина, „суть плоды доброжелательства и мудрости“, то указы его „нередко жестоки, своенравны и писаны кнутом“. Эти последние „вырвались“, как полагает Пушкин, „у нетерпеливого, самовластного

помещика“. Не замечательно ли, что, и критикуя Петра, Пушкин отнюдь не приближался к точке зрения реакционного славянофильства? Не разрушение якобы присущих русской природе исконных домостроевских начал ставит он в вину преобразователю, а грубый, беспощадный деспотизм. „Писаны кнутом“ — сколько в этой лаконичной характеристике пушкинской меткости и блеска! Мало того, Пушкин приближался к пониманию социального профиля Петра как „самовластного помещика“.

Читая пушкинские наброски истории Петра, нельзя не вспомнить блестящее определение деятельности последнего, данное тов. Сталиным (в беседе с Людвигом Эмилем), который, указав, что Петр „много сделал для создания и укрепления национального государства помещиков и купцов“, дал тем самым основные вехи для понимания как прогрессивных, так и антинародных сторон петровской реформы. Еще в 1928 г. тов. Сталин отмечал, упоминая о „лихорадочном“ строительстве Петра, что „. это была своеобразная попытка выскочить из рамок отсталости“.¹ И в то же время он подчеркнул в беседе с Людвигом Эмилем, что создание национального государства осуществлялось Петром за счет крепостного крестьянства, „с которого драли по три шкуры“.

Вдумываясь в проникновенные пушкинские оценки Петра, мы не можем не видеть, насколько они близки нам, насколько историческая мысль Пушкина преодолевала ограниченность как официозных апологетов „преобразователя“, как и его реакционных хулителей типа кн. Щербатова.

Подводя итоги вышесказанному, мы можем заключить, что от мертвящей обстановки николаевщины Пушкин уходил к образу Петра, который, несмотря на деспотическое самовластие, несмотря на указы, писанные кнутом, олицетворял для него творческие силы русского народа, был для поэта залогом, что, как ни „грустна“ окружающая его Россия, она когда-нибудь „вспрянет ото сна“ в той или иной политической форме.

Про Пушкина можно сказать теми же словами, которые сам он относил к Петру, —

Не презирал страны родной,
Он знал ее предназначенье.

И презренье к ней, к своей родине, к героическим традициям прошлого, неверие в творческие силы своего великого народа он не мог простить никому, даже другу своей молодости Чаадаеву. Чаадаев и Пушкин — два полярно противоположных взгляда на исторический путь России. Великий поэт вступил в полемику с автором „Философического письма“ не во имя гнилых устоев „самодержавия“ и „православия“, но во имя священного для Пушкина принципа „народности“ отнюдь, разумеется, не в том смысле, какой вкладывала в это слово реакция. Как мы увидим ниже, патриотизм Пушкина был целиком направлен против уваровского реакционного псевдопатриотизма, который пытался украсть у русского народа его героическое, полное „силы и энергии“ прошлое.

¹ И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 3-е, дополненное, Соцэргиз, М.-Л., 1931 г.

II

Известно, какое значение имел для Пушкина 1812 год. „Гроза двенадцатого года“ была для него одним из самых героических воспоминаний славного прошлого. Но трактовка этой эпопеи Пушкиным глубоко отлична от той, которую стремился дать официальный лагерь. Особая точка зрения Пушкина на 1812 год выразилась с предельной яркостью в незаконченном рассказе „Рославлев“ („Отрывок из неизданных записок дамы“), представляющем собой своеобразное credo пушкинского патриотизма. Каждая фраза в этом отрывке бьет по псевдопатриотизму реакционного дворянства и его песнопевцев, главным образом Загоскина, против махрово-шовинистического произведения которого под одноименным названием „Рославлев“ и направлен полемический пушкинский отрывок.

Прежде всего Пушкин совершенно разрушает легенду о патриотическом воодушевлении великосветской знати во время войны с Наполеоном. По словам дамы, от лица которой ведется рассказ, уже перед самым взрывом „грозы двенадцатого года“ о перспективах войны в великосветских кругах говорили

довольно легкомысленно. Любовь к отечеству казалась педантством... Молодые люди говорили обо всем русском с презрением или равнодушием и шутя предсказывали России участь Рейнской конференции. Словом, общество было довольно гадко.

Но Пушкин не ограничивается этой убийственной для светского „общества“ характеристикой. Он показывает, что оно осталось „гадким“ и тогда, когда очередной темой дня стал крикливый „патриотизм“.

Гонители французского языка и Кузнецкого моста взяли в обществах решительный верх и гостиные наполнились патриотами: кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский; кто сжег десяток французских брошюр; кто отказался от лафита, а принялся за кислые щи. Все закаялись говорить по-французски; все закричали о Пожарском и Минине и стали проповедывать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни.

Сколько уничтожающего сарказма в этих замечательных строках! Вряд ли кто-нибудь из ожесточеннейших антагонистов дворянской культуры разночинцев-шестидесятников мог бы придумать что-нибудь более смешное и отвратительное, чем эти приверженцы „народной войны“, кричащие о Минине и Пожарском и собирающиеся удрать „в саратовские деревни“. И самое замечательное, что на этом фоне героиня пушкинского наброска Полина, олицетворяющая по мысли Пушкина подлинный, а не показной патриотизм, „не могла скрыть свое презрение, как прежде не скрывала свое негодование“. С целью позлить новоявленных „патриотов“ она

нарочно говорила по-французски; за столом в присутствии слуг нарочно оспаривала патриотическое хвастовство, нарочно говорила о многочисленности наполеоновских войск, о его военном гении“.

Когда же трусливые аристократы

бледнели, опасаясь доноса, и спешили укорить ее в приверженности ко врагу отечества, Полина презрительно улыбалась. Дай бог, говорила она, чтобы все русские любили отечество, как я его люблю.

В лице Полины Пушкин делает попытку изобразить представительницу того дворянского *меньшинства*, у которого любовь к отечеству сочеталась с уважением к европейской культуре. Из этого меньшинства вышли декабристы, с ним чувствовал себя связанным и сам Пушкин. Впоследствии (в 1836 году) он дал сокрушительный отпор попыткам мракобеса М. Лобанова закрыть доступ в Россию якобы „безнравственным“ произведениям западно-европейских (главным образом, французских) писателей. Борьбу с оголтелым шовинизмом, с „квасным патриотизмом“ ревнителей официальной „народности“ ведет он и в „Рославлеве“, заостряя в данном случае свое сатирическое жало против заядлого французода Загоскина. В ответ на стремление последнего заставить русских читательниц отказаться от „тлетворной“ западной литературы и обратиться исключительно к отечественной, Пушкин устами самой Полины заявляет:

мы и рады бы читать по-русски, но словесность наша... чрезвычайно еще ограничена... между тем, как во Франции, Англии и Германии книга одна другой замечательнее следуют одна за другой.

И, отстаивая традиции европейской культуры, Пушкин как бы мимоходом бросает исключительные по своей злободневной политической остроте строки:

Вечные жалобы наших писателей на пренебрежение, в коем оставляем мы русские книги, похожи на жалобы русских торговков, недоющих на то, что мы шляпки наши покупаем у Сихлера и не довольствуемся произведениями костромских модисток.

Ирония по адресу „русских торговков“ и „костромских модисток“ станет нам совершенно понятной, если вспомним, что это писалось в пору правительственного протекционизма „отечественной“ промышленности, в пору покровительствуемых свыше промышленных выставок, когда императорская чета демонстративно украшала комнаты Зимнего дворца изделиями русских фабрик, в пору, когда все официозные борзописцы призывали „публику“ во имя процветания российского капитала пользоваться исключительно предметами „отечественного“ производства, отказавшись от всего „заморского“ (особенно изошрялся по части пропаганды русских изделий, а заодно и вековечных русских устоев в противовес западным влияниям приобретший печальную известность „русский инвалид“ И. Н. Скобелев и его соратники из „Северной пчелы“ типа В. Бурнашева). Пушкин одинаково иронически относился и к жалобам Загоскиных на западнические увлечения русских читательниц и к пропаганде во что бы то ни стало именно русских „шляпок“. Именно поэтому, желая ударить по реакционному шовинизму, он делает свою Полину по ее культурным симпатиям *западницей*.

И несмотря на это или, вернее, благодаря этому, пушкинская Полина от души ненавидит великосветских „обезьян просвещения“, корчащих из себя европейцев.

Боже мой! — говорит она с возмущением о светском обществе. — Ни одной мысли, ни одного замечательного слова... Тупые лица, тупая важность — и только! С наслаждением выслушивает Полина ответ своего кумира, боготворимой ею французской романистки м-ме Сталь некоему „несносному старому шуту, который из угождения к иностранке вздумал, было, смеяться над русскими бородами: „Народ, который тому сто лет отстоял свою бороду, отстоит в наше время и свою голову“.

Таков патриотизм Пушкина. Пушкин вел борьбу в двух направлениях — как против официального псевдопатриотизма, *шовинистического руссофильства*, так и против дешевого аристократического „презрения“ ко всему русскому, к национальной самобытности народа, к его нравам и обычаям.

Пушкин показывает родственность обоих, казалось бы, диаметрально противоположных явлений, так как оба они проистекают из одного источника, из отсутствия подлинного патриотизма. Носителем такого патриотизма осознавал себя Пушкин.

III

В свете проблемы народности и пресловутые генеалогические симпатии Пушкина рисуются отнюдь не в тех отрицательных чертах, какие им обычно приписываются. Достаточно вспомнить концепцию Д. Благого, согласно которой интерес Пушкина к своим предкам был отражением фрондерских настроений деклассирующегося дворянства. Между тем, вдумчивый анализ высказываний величайшего и мудрейшего из русских поэтов относительно его „шестисотлетнего дворянства“ должен нас привести к совершенно иным выводам.

Возьмем хотя бы такое показательное стихотворение, как „Моя родословная“. Казалось бы, здесь чувство ущемленного аристократического самолюбия выражено с максимальной четкостью. Однако, вчитаемся внимательно в пушкинские строки —

Вдичились Пушкины с царями,
Из них был славен не один,
Когда тягался с поляками
Нижегородский мещанин.

Если цель этого стихотворения — апология доблестей угасшей феодальной аристократии, зачем в таком случае понадобился Пушкину „нижегородский мещанин“? О чем могла напомнить фигура нижегородского мясника деклассированному „феодалу“ Пушкину? И почему этот последний вспомнил именно о Козьме Минине, а не об его знатном соратнике князе Пожарском, гораздо более импонирующем аристократическому сердцу? Разгадку находим в „Отрывках из романа в письмах“ (1830 г.).

Имена Минина и Ломоносова, — пишет Пушкин, — вдвоем перевесят, может быть, все наши старинные родословные. Но неужто потомству их смешно было бы гордиться сими именами?

Признавая перевес имен Минина и Ломоносова над всеми „старинными родословными“, Пушкин тем самым подчеркивает, что именно

сословная гордость важна ему только как *форма*. Суть же дела в ином. „Семейственные воспоминания дворянства, — пишет он в другом месте, — должны быть *историческими воспоминаниями народа*“.¹ Когда же Пушкин встречал в светском обществе удручавшее его равнодушие к этим последним, он не мог удержаться от гневных, бичующих строк.

Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим, и у нас иной потомок Рюрика более дорожит звездой двоюродного дядюшки, чем историей своего дома, т. е. историей отечества.

Роясь в геральдической пыли, любовно воскрешая образы своих предков, Пушкин тем самым ощущал свою непосредственную связь с героическим прошлым всего русского народа, с „историей отечества“. Он вспоминал о том, что и его предки участвовали и притом со славой в том *общенациональном движении*, которое возглавлялось „нижегородским мещанином“ Козьмой Мининым. „Нижегородский мещанин“ как символ *национальной* борьбы за независимость русского государства — не обмолвка, а только подчеркивание того, что генеалогические экскурсы Пушкина чужды той *сословно-ограниченной* кастовой исключительности, которая как раз лежит в основе всякой феодальной идеологии. Знатные предки привлекали внимание поэта прежде всего как звено общенациональных героических традиций, как непосредственная связь со славным прошлым всего *народа*, лучшими выразителями которого были для него вовсе не бояре, а великий плебей Минин и, разумеется, не менее великий плебей Ломоносов.

... отрок, оставь рыбака!

Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы...

Героические традиции народа, олицетворяемые этими людьми, противопоставляются Пушкиным „дикости, подлости и невежеству“ николаевской России, где царит раболепное преклонение перед „звездой двоюродного дядюшки“, в то время как славная история великой страны покрывается травой забвения.

Но разве николаевская Россия не любила вспоминать о героических образах прошлого? Ведь вся „культурная“ политика николаевского правительства основывалась именно на стремлении украсть у русского народа его героев, кощунственно превратив их в знамя „третьего отделения“. Как раз ответом на подобные попытки являются хлещущие как бич слова великого национального поэта:

...какой гордости воспоминаний ожидать от народа, у которого пишут на памятниках — „Гражданину Мишину и князю Пожарскому“. Какой князь Пожарский? Что такое гражданин Минин? Был окольный князь Дмитрий Михайлович Пожарский и мещанин Козьма Минич Сухорукой, выборный человек от всего государства. Но отечество забыло даже настоящие имена своих избавителей. Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ!

Это, казалось бы, беспощадное обличение „жалкого народа“ на самом деле продиктовано подлинным патриотизмом, истинной любовью

¹ Сочинения Пушкина, ГИХЛ, 1932 г., т. 4-й, стр. 689.

к родине и одновременно презрением к рыцарям „официальной народности“, опошляющим национальные традиции. Крепостническая Россия превратила Минина и Пожарского всего-на-всего в монумент на площади, вытравив из их образа всякие живые, конкретные черты (неточное воспроизведение их имен только рельефнее это оттеняло). Пушкин боролся против превращения героев отечественной истории в безжизненных, канонизированных истуканов, за действительное отношение к былому, за возрождение в современной поэту России того героического духа, который он ощущал в истории русского народа и который отсутствовал в окружавшей его „светской черни“.

В одном из своих наиболее глубоких и наименее оцененных произведений — в „Путешествии Онегина“ — Пушкин показывает своего героя в его стремлении приобщиться к „святой Руси“, в исцелительное воздействие которой он, было, слепо поверил, —

Уж он Европу ненавидит,
Святою Русью бредит он.

Но ближайшее соприкосновение с действительностью оказалось только способным усугубить „тоску“. „Тоска“ встретила Евгения в хлебосольной барской Москве.

В палате английского клуба...
О кашах преня слышит он.
Тоска!

И когда вслед затем Онегин

В Нижний хочет,
В отчизну Минина¹

там его встречает та же пошлость, что и в аристократической Москве, только под иным соусом, —

Табун бракованных коней
Пригнал заводчик из степей,
Игрок привез свои колоды
И горсть услужливых костей,
Помещик спелых дочерей,
А дочки прошлогодни моды.
Всяк суетится, лжет за двух,
И всюду меркантильный дух.
Тоска!

„Отчизна Минина“ представляет собой под пером Пушкина не слишком утешительное зрелище. Официозному лагерю культ героического купца Минина нужен был для того, чтобы протянуть от него нить к денежному воротиле XIX века. Пушкин на эту удочку не попался. В окружающей его „грустной“ России он не нашел и следа героических традиций. Эта та Россия, которая вызвала у него восклицание: „чорт догадал меня родиться в России с душою и талантом!“ Как подлинный патриот, как подлинный великий сын русского народа, — *этой* Россией он не мог не тяготиться.

¹ Курсив наш. А. Г.

IV

Указывая, что „семейные воспоминания“ дворянства должны быть историческими воспоминаниями народа, Пушкин писал: „Но какие воспоминания у детей коллежского асессора (или обер-офицера)?“ Однако, была иная социальная среда, наличие исторических воспоминаний у которой не подвергалось Пушкиным сомнению. Это среда крепостного крестьянства. Пушкин слишком хорошо знал, что история мужицкой России это не только „История села Горюхина“, но и „История Пугачевского бунта“. И если эта Россия пронизана была для Пушкина грустью, а порой и ужасом, то вместе с тем он еще в 1824 году именвал Степана Разина „единственным поэтическим лицом в русской истории“, а в 30-е годы сумел дать глубоко поэтические образы Пугачева и его соратников. Заунывная песня пугачевцев пронизана в описании Пушкина „каким-то пиитическим ужасом“, тем „упоеанием в бою“, которое слышится и в вдохновенной калмыцкой сказке об орле и вороне, вложенной в уста Пугачева. И если Маркс и Энгельс подчеркивали, что Бальзак, будучи монархистом по своим политическим взглядам, однако, „настоящими людьми“ изображал именно своих политических противников республиканцев, то мы видим, что, возвращенный дворянской средой, во многом усвоивший ее мировоззрение, Пушкин „настоящими людьми“ изображал вождей крестьянской революции Разина, Пугачева и Хлопушу. И если Онегина в его скитаниях гнетет царящая повсюду пошлость, то несомненно гораздо поэтичней московских бар и нижегородских выжит те бурлаки, которые

Унынным голосом поют
 Про тот разбойничий приют,
 Про те разъезды удалые,
 Как Стенька Разин в старину
 Кровавил волжскую волну...

В течение всего XIX века по рукам ходило анонимное стихотворение „Родина“, которое обычно приписывалось Веневитинову. В этом стихотворении протест против „господского кнута“ очень ярок, но протест этот носит абсолютно беспочвенный характер — автору не только русский народ, но и вся Россия представляется каким-то гиблым местом, начиная с самого пейзажа:

Природа наша точно мерзость...
 В России самая земля
 Считает высоту за дерзость.

Пушкин же сумел полюбить скудный пейзаж деревенской России —

Люблю песчаный косогор,
 Перед избушкой две рябины...

И не только пейзаж. Еще в своей псковской ссылке обратился Пушкин к роднику *народного творчества*. „Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!“ — писал он о сказках Арины Родионовны, противопоставляя их „проклятому“ светскому воспитанию, отрывавшему его от народной почвы. А превращая впоследствии некоторые из этих сказок в искрящиеся самоцветы русской поэзии, Пушкин, как пронизательно

отметил Горький, „насмешливого, отрицательного отношения народа к попам и царям... не скрыл, не затушевал, а, напротив, оттенил еще более резко“. Сказка о работнике Балде, бунтарская как по тематике, так и по форме (самый размер ее, размер балаганного раешника взрывал салонную эстетику), появившись она в 60-е годы анонимно, могла бы легко сойти за поэтическую прокламацию, изданную кем-то из сторонников Чернышевского. Пушкинский Балда — это тот самый „гость в армяке и тулупе“, появление которого так страшило реакционера Каченовского.

Впоследствии либеральный западник Тургенев недоумевал, как можно говорить о русском народном творчестве, когда русский народ ничего не дал, кроме диких, нестройных напевов. И в своей пушкинской речи (в 1880 г.) Тургенев, отрицавший самую возможность народного искусства, объявил самыми слабыми произведениями Пушкина его, по меткому определению А. М. Горького, „чарующие красотой и умом“ сказки.¹ Разумеется, Пушкин не мог разделять это барски пренебрежительное отношение к народному творчеству. Недаром ему

Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика,
То разгулье удалое,
То сердечная тоска.

Это „родное“ Пушкин пытался раскрыть в незаконченных, к сожалению, стихах —

Пой, — в часы дорожной скуки
По дороге столбовой
Сладки мне родные звуки
Звонкой песни удалой.
Пой, ямщик! Я молча, жадно
Буду слушать голос твой...
Знаешь песню ты — „Лучина,
Что так не светло горишь“...

Великий национальный поэт, осознавший себя выразителем лучших, наиболее героических традиций народа, его прошлого, сумел услышать не только триумфальные звуки петровских литавр, но и заунывную песню ямщика о лучине. Из этого образа выросло впоследствии мощное поэтическое обобщение —

Фигурно иль буквально, — всей семьей
От ямщика до первого поэта
Мы все поем уныло. Грустный вой
Песнь русская! Печалию согрета
Гармония и наших муз и дев,
Но нравится их жалобный напев.

Трудно сразу осознать всю глубину, всю значимость этих стихов. Как они бьют по тем, кто отдает Пушкина целиком и безоговорочно дворянскому да еще крепостническому укладу! Признать, что сам он, „первый поэт“, является членом одной „семьи“ с „ямщиком“, что грусть его поэзии отражает вековечную грусть народной песни, кто бы еще из

¹ М. Горький о Пушкине. См. „Известия“ № 223 от 24 сентября 1936 г.

современных Пушкину дворянских поэтов смог бы выступить так деклативно?

Пушкин знал, что крестьянская песня порой напоминает „грустный вой“. Но он не отворачивался от нее с барским презрением, как впоследствии Тургенев. Он чувствовал, что его муза близок „жалобный напев“ крестьянской девушки, что его муза — родня ей —

Поет уныло русская девица,
Как музы наши, грустная певича.

Не отсюда ли ведет свою родословную некрасовская „кнотом иссе-ченная муза“? Та муза, родная сестра которой „крестьянка молодая“? Случайно ли Некрасов перефразировал именно строки из „Домика в Коломне“, сравнивая послереформенную Русь с крепостнической, —

Свобода, наконец, внесла ли перемену
В народные судьбы, в напевы сельских дев?
Иль также горестен нестройный их напев?

Субъективно Пушкин осознавал себя дворянином. Это давно известно, об этом написаны горы бумаги. Но никто из исследователей его творчества не вскрыл того, что так удачно выразил великий пролетарский писатель А. М. Горький, а именно, что Пушкин „почувствовал духоту дворянских традиций“¹ и инстинктивно рванулся к русскому трудовому народу, к неиссякаемым богатствам его языка и творчества.

Недаром идеальный поэт Пушкина —

..... тешится игрой
На пышных играх Мельпомены,
И улыбается забаве площадной
И вольности лубочной сцены.

Так с плебейской „площадной забавы“ и „лубочной сцены“ снимается презрительный ярлычок, они ставятся рядом с „играми Мельпомены“, с величавой классической трагедией. Поэт волен „тешиться“ народным творчеством, питаться также и его соками, наряду со всем богатством мировой культуры.

То Рим его зовет, то гордый Илион,
То скалы старца Оссиана,
И с дивной легкостью меж тем летает он
Вослед Бовы иль Еруслана.

„Народ, его язык, его характер и эпос — вот та почва, в глубину которой уходят корни пушкинского творчества“.²

¹ М. Горький о Пушкине. См. „Известия“ № 223 от 24 сентября 1936 г.

² Ц. О. „Правда“ от 8 августа 1936 г.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОВРЕМЕНИК

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
Ж У Р Н А Л

Я Н В А Р Ь • 1 9 3 7

1

ЛЕНИНГРАД

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“